

Сергей Соловьёв многолик. Только что видел его медитирующего стихами у микрофона – в сопровождении музыкальной группы, а вот уже ты сосредоточен на его поэме, идущей сплошным текстом – без разбивки на строки – чистая проза, а это стихи. Кажется, читаешь стихотворные строки – это эссеистика. Сосредоточишься на рифме, учуешь просодию, а дохнёт философским трактатом. И всё равно – это поэзия. Индия – особый мир, и эту особенность Соловьёв чувствует, осмысляет, переживает поэтическим восприятием мира, уводя нас за собой то ли в джунгли, то ли в вечность.

Д. Ч.

АХИМСА

Я вот что понять не могу. Как могла уцелеть на земле Индия? Может, я передергиваю, но вот: есть мы, при всей разности наших египтов, китаев, европ, америк, – мы как некая коммуналка, и есть Индия, которая – где? Когда-то я написал: мир делится на Индию и всё остальное. В запальчивости написал, неверно. Если делится на неё, то остального нет. И наоборот. Если на нас делится – нет её.

Собственно, это и происходило: вся история Индии – это последовательное ханжеское её вытравливание с лица земли. И я понять не могу не то, почему так происходило – это понятно, а как смогла она уцелеть. Семьсот лет была под мусульманами: язык вырван, святыни разрушены, насильственное обращение не то что в чуждую веру, а как в

первую группу крови вливают четвёртую. И что? Встаёт утром, семь веков спустя, подходит к зеркалу – светла, молода, нерастрочена. А Тадж-Махал – святыня ислама – индийский национальный символ. И сразу вослед этим семи векам – колонизация англичанами, два, а точнее, три столетия обращения в христианство. Лицемерного, свысока. Мол, культура пришла к варварам. Единственно истинная вера, вся в крови, грязи и ханжестве, подмяв под себя треть планеты, раздев, разграбив и воцарившись, учит – кого? Вьон учит дерево. Обвивает, сосёт, жиреет, душит, учит.

Крупнейший учёный, первый и главный авторитет Макс Мюллер выпускает библию Востока, пятьдесят шесть откомментированных томов, половина из них – Индия. Первое окно для Европы. Учит, как смотреть в него: белая раса, арии, пришли в Индию с северо-запада, привнесли культуру, знания, потом смешались с аборигенами, выродились. Отсюда – вначале Веды, потом тишь, по нисходящей. Так смотрела просвещённая Европа на Индию – по нисходящей.

Что ж это за народ – всунь ему кусок говядины в рот, и он уже мусульманин, дай ему свитерок, чтоб согрелся, и он уже христианин. Вырежи пару миллионов, а он молчит, ладони у лица складывает, улыбается. Сожги книги, лиши языка, убей Бога, – рис собирает, детей растит, улыбается. Где нация, где руки, за которые взяться, где сопротивление?

Ахимса. Непричинение вреда ни одному из живых существ. Никому – ни человеку, ни муравью, ни воде, ни огню. Три тысячи лет назад, а точнее, пять, принята эта заповедь. Не в ряду других, а первая, главная. И только после неё – Бог, правда, честность, целомудрие, уважай родителей, и т.д. Первая, и именно потому всё остальное, из неё исходящее. Гениально просто. И совершенно не от мира сего. Ни в одной этике мира этого нет. Тысячелетья бьёмся над законами нравственности, места живого нет на этом проклятом поле. А тут – изначально, и так просто, и на все времена.

Две из пяти мировых религий возникают в Индии. И что? Хоть один крестовый поход, газават? Нет. Великое могучее царство. И что? Агрессия, амбиции к мировому владычеству? Нет. Богатейшие знания, опыт. И что? Никакого навязывания себя другим, никакой экспансии. Взгляд внутрь, в себя, в бесконечность, в бога. Нет народа, есть человек. Нет того, вокруг чего сплачиваются – ни страны, ни национальной идеи. Есть взгляд, внутрь, от Атмана к Брахману, и обратно, тот же. Есть Веды. Но кто это сказал, кажется, Померанц: вычти Библию у евреев,

Коран у мусульман, и религия расщепается. Вычти священные книги у индусов, и Индия как мироощущение остаётся. Не здесь основа. А где?

Нас ещё нет почти, только ходить учимся, а они уже всё прошли, сидят, на закат смотрят, ноль придумывают. Ману, первочеловек и человек вообще. Так просто: Ману – сын солнца и брат смерти. Кто такой «человек»? Сын солнца, брат смерти. Вот и всё. Здесь печка, считай отсюда. Три миллиарда лет примерно, потом распад, и мир заново ткётся, другой узор – из тех же нитей, ах, как долго она вышивала, и опять расплетается. Не линейное время и не цикличное, а и то, и другое одновременно. Невоплощённое лежит в основе. Бог это творчество, если попросту. И в этом первопричина порождения мира. И никаких прикладных целей. Проявление себя в творческом действии. Вот и вся мотивация, знакомая каждому, кто имел с этим дело. И никаких целевых аудиторий, богоизбранных. Творить, оставаясь почти безымянным, небесным отшельником, в стороне от кумирен. Брахмой, творцом мира, никем. А на устах кто? Шива, Вишну, другие, те, кто в людях, – не он.

И вот, две с половиной тысячи лет назад, когда уже всё свершилось – там, у них, а в Греции только-только ещё начинается: Гомер, Платон, – в Индии происходит некое брожение: надо поговорить, уточнить мироздание. На юге возникает несколько философских групп. Адживики во главе с Гонсалой, джайны с Джинной Махавирой, буддисты с Буддой, шраманы и брахманы... Готовятся, строят миры, а на зиму идут на север, к Гималаям, селятся в пещерах, устраивают совместные диспуты. Мирно, у костров. И расходятся по берегам. Ни религиозного экстаза, ни священных войн. А потом приходит император Ашока и объединяет народ в одну семью, все веры – сёстры, всем сёстрам по серьгам, а буддизм – любимая. И дерево цветёт, все ветви.

Ахимса. Непричинение вреда ни одному из живых существ. Никогда нам этого не понять, ни в голове не сложить, ни в сердце. Вот что в начало положено – в начало мысли, чувства, ощущения себя в мире: ты, человек, не выше воды, не чище огня, не дороже дерева. Ты – это весь мир, весь Бог, в одном нераздельном вдохе. Нет границ твоих очертаний.

И тогда ахимса становится не умозрением, а твоим костным мозгом. Ахимса, а потом уже – Бог, родина и прочий пафос. Точнее, он перестаёт быть пафосом, тем полем – героическим, бумажным, проклятым, на котором мы все лежим.

* * *

Поправь меня, если я подзабыл,
но, кажется, нет никакой мотивации
для сотворения мира.

Чего ради?

Вот смотри: уже дух над водами.

А зачем?

Или Хаос вначале, метаморфозы.

Или Слово, его развёртывание.

Или у гностиков – Эпинойя,
нисхождение света.

Или вот у индусов:

вначале был Ся (Самость),

и решил он создать территории.

Точка. Никакой мотивации.

Описание процесса.

Но вот любопытное. Всё создав,

он задается вопросом: «Может ли
существовать оно без меня?»

И отвечает: «Может. Но без меня».

И дальше: «Как же войти мне?»

Темя вскрывает и входит в творенье
через «Воротца радости»,

и изумлён: кроме него там

нет никого. Так и зовут его: Тот,
который видит.

Но опять же – неясно

с мотивацией. А пока ты гадаешь,
как мне ответить, да и вообще –

отвечать ли, поскольку

ты существуешь, и ты без меня,

и Воротца без нас, но открыты,

я скажу тебе вот что: не сразу

у него получилось. «Не то!», –

говорило ему сотворённое им,

и он переделывал, слушал, пока

оно не ответило: «Да,

вот теперь хорошо!». Да?

Ты слышишь? Уже не войти.

* * *

Нильгау, единорог, дымчатый великан,
тело его плывёт сквозь джунгли,
перебирая под собой евангелистами,
оставляя следы двуперстий.
Он несёт себя как сосуд,
как меха на просвет с голубым вином,
его шея почти исчезает в небе –
там, где маленькая голова ибн сини
оборачивается из семи времён:
сумерки рая в глазах,
и в горло воткнутый полумесяц.
Он плывёт меж сновидческими деревьями,
он целует их мочки ушные в серёжках,
вглядываясь с исподу в рукописи листвы,
смешивая языки –
алые буквицы Рамаяны с зарослями Авесты.
Его маленькие женщины
в бежевых сорочках
держатся на виду, но поодаль,
обмахиваясь веером тревожного света.
Он чувствует их спиной,
они восходят по хребту
и гаснут на губах.
А когда встречаются двое,
они становятся на колени
и мерно чокаются лбами,
беседуя о девственницах.
А те стоят поодаль, слушают,
как будто речь о них.

* * *

Мы столкнулись внезапно,
в джунглях,
на изгибе тропы:
он стоял... Но прежде – запах
прелой соломы, яслей...
Он стоял – так огромен, что с его высоты
человек в нас проваливался, как в дыру,
и падал, падал... Мама! –

выдохнула ты потом. – Разве
это был слон? Мамонт!
Стоял, как в банном пару, в миру,
горой Меру,
мутные реки текли из крохотных глаз –
там, в небе, и запекались в ногах,
а он стоял, рвал над собой ветки – веру,
любовь, надежду – рвал, ронял.
Легонький расписной прах
вился вокруг твоей головы, трепетал,
а он всё стоял, чуть раскачиваясь. Пустота,
как женщина, билась внутри него. Мотылёк
вдоль по линии взгляда горел восходя,
и зрачок заволакивался затмением.

* * *

Мы лежали в земле Семи Сестёр,
в голой хижине на краю джунглей:
четверо всхрапывающих егерей,
мы с тобою – лицом в солому,
и проводник – мальчик,
спящий в обнимку с дробовиком.
А вдали, за лугом, кричал олень...
Не кричал, а каким-то воем с кашлем навзрыд исходил.
Может быть, ты сказала,
тигр его возлюбленную разорвал,
и она всё никак не срастётся в вое его, в зрачке.
Смерклось. Хижина. Крик, как роды
смерти, и повитуха-ветер.
А мы лежали лицом в солому, во тьме прижавшись
и, как во сне, друг друга перебирали,
как письма в доме – родном, забытом.
И той же ночью,
невдалеке, такой же, как наш, патруль лесничих
расстрелян был – в упор.
И по-живому был спилен рог у носорога, самки.
Трещала рация. Иль угли –
их мальчик раздувал, проснувшись.
Её нашли наутро.
Она пыталась встать, почти стояла,
и из неё текло меж задних ног,

дрожащих, оседающих, и мутно
она на егерей глядела, и кровавый
пенёчек рога всё ещё сочился. Ребёнок
всю ночь в кустах скрывался и оттуда
смотрел, как режут мать.
Теперь стоит и лижет ногу ей, но там не молоко –
моча и кровь.

У доктора в питомнике – такой же,
лицом к стене, насупленный, беспомощный
и горько нежный, глазом косит.
Лёня! – позвал через ограду. – Лёня. Как деда моего.
Не знаю, почему вдруг с языка сорвалось.

Щемь такая. Лёня!
И он в хламидке той, времён военных,
и в сапогах кирзовых, шатких,
на несколько размеров больших,
ко мне засеменил и замер...

Ладонь твоя – в моей была, другая – на животе лежала:
там пробуждалась, улыбаясь, небыль – то,
что вскоре назовём, переглянувшись: Лёня...

И доктор в лес повёл нас тёмною тропой.
Там, высоко, в воздушной кроне, клеть висела,
в ней девочка в охристой куцей шубке,
а лицо – как маска театра Но.

Еду и воду ей лебёдкой подымает доктор.
Он подобрал её в лесу, лежала в коме. Чёрная.
Они светлеют с возрастом, но только девочки.
Она летела, перехватывая ветви, чуть касаясь,
меж небом и землей, и вдруг – на проводах повисла,
без чувств упала.

Он выходил её, теперь пытается вернуть в природу.
Терпенье. За холмом живёт семья гиббонов.
Там есть жених, он ходит на свиданье к ней,
садится к ней спиной на ветке и в ладони дует –
как в уголёк, и ловит взгляд её:

она припала к прутьям, а он так робок...
И мы с тобой не можем
в бинокль разглядеть – ну что он прячет?
Цветок! Цветочек аленький, в ладонях.
Лицом в солому. Рация шуршит.
Оленя крики ветер носит.

Я была, ты шепчешь,
красива, как Паоло и Франческа, и носила

с полями шляпу, с небом и лесами, жаль,
что ты меня тогда не встретил. Мальчик
свернулся у огня, как пёс, и егеря мертвы,
а пули живы, свившие гнездо.
Она стоит, моча и кровь стекает по ноге, он лижет
и тычется в неё. Дрожит хламидка. Лёня.
Сапожки движутся. Ладонь на животе. Толкается.
Цветок мандара в небе. Маска. Лицом в солому.
Кто бы мог подумать, что это всё меж нами, нам,
про нас...

* * *

Между Волгою и Гангой,
между жизнью и несмертью,
что ж ты кружишь, речь-цыганка,
где твой табор?

Жил с тобою как с судьбою,
мой соколик, говорила,
что же вторишь ты вослед мне:
где твой табор?

ИЗ ВИШНУ ПУРАНЫ

II. 5-18

Парашара сказал:
слава золотому зародышу,
началу мира и его концу.
И поклонился опоре вселенной –
ничтожнейшему Пуруше,
который повсюду, куда ни глянь:
вот его игрище, этого разного мальчика,
но сам он не здесь,
а там – нет у него примет.
Невыразим, незапятнан
ни формой, ни содержаньем, –
таков уговор (стиль).

Вначале были трое как одно:
Дух, Брахма и Ничто
сокрытое. Но стало явным,
Дух вышел,
обернулся Брахмой:
мир возник.

Развертка Брахмы
как Ничто –
в основе мира.
Триединство:
благость, страсть и косность.
Потом самосознание
приходит в чувства.

Они,
поскольку помнят о творенье,
рождают звук,
пространство создающий.

Пространство,
помня о творенье,
рождает осязание;
так возникает воздух.

Воздух
рождает образ.

Затем – вода и вкус.
Последним – запах,
он – вершина чувств.

Яйцо творенья,
растущее кругами по воде.
Внутри – гора, вокруг – огонь.
В нем – страсть, ведома Брахмой,
творит миры.

Создатель,
круг пройдя,
себя сжигает с миром.
И начинает с чистого листа.

IV. 3-36

Очнулся Брахма: мир во тьме и пуст,
Земля водой сокрыта. Поразмыслив,
решил её извлечь. И, обернувшись вепрем,
вошёл, раздвинул воды.

Земля склонилась
к ногам его:
«Возьми меня, мой бог,
как прежде брал...»

И он поднял её из вод,
могучий вепрь,
и, просыхая,
шкура
на нём мерцала письменами Вед.

V. 3-17

Вначале
(но где, когда?)
сосредоточился
и тьму создал кромешную.
И взгляд отвёл.

И вновь сосредоточился
и сотворил животных –
«канал горизонтальный».
Высокомерны,
они ходили, не говоря друг с другом,
и в каждом было двадцать восемь
несовершенств.
Прикрыл глаза.

Сосредоточился,
и сотворил богов
счастливых, светлых, «внешний
канал». И улыбнулся,
взгляд отвёл.

И вновь сосредоточился,

и вертикальный создал канал.
Вот совершенство. Люди.
Страсть и косность.

Что хочешь ты ещё услышать?

VII. 1-42

А ещё сотворил он «познавших поле»,
это я уже говорил.

А ещё – наделённых разумом,
но они –
небожители – не размножались;
ни страстей, ни зависти,
ни творческого порыва.

Сдвинул брови:

в гирлянде огня

Рудра возник.

И сказал ему Брахма:

«Раздвоись

на женщину и мужчину»,

и скрыл себя.

Раздвоил, как сказано,

и ещё на одиннадцать разделил

мужчину,

а женщину – не сосчитать.

Существуют четыре гибели:

промежуточная,

преходящая,

абсолютная

и непрестанная.

VIII. 33, 17

Что говорить.

Во всём, что ни возьми на свете,
есть лишь она и он.

И, кроме них, ничто не ново.

Он – смысл слова,

а она – звучанье.

МАНДАЛА X, 135

Сын:

У древа с дивною листвою,
где Смерть в кругу товарищей хмелеет,
отец сидит, как сам не свой,
и озирается, и не находит

ни признака почивших предков.
Его я вижу там, и сердце точит
тоска, кривой дорогой зренья
идя за ним, как день за ночью.

Отец:

На мнимом корабле ты, мальчик, но куда
плывёт – не ведаешь, во все края,
похоже, одновременно, и вода
вослед за ним расходится.

И песнь поверх воды плывёт,
и сквозь тебя ко мне восходит,
перебирая весь наш род
как чётки жертвоприношенья..

Голос:

Кто сотворил тебя, сынок?
Кто на воду спустил корабль?
И кто сегодня б мог
сказать, как эта связь возникла?

Кому и кто её передавал?
Не здесь ли нить и
начало жизни, и на дне её –
отверстие, обитель

Ямы, вверенный чертог.
И дудка, чтобы дуть
в отверстие. И дерево, и Бог.
И мальчик и корабль.

Когда ушла твоя душа,
Как в землю – в небеса,
Её мы возвратим тебе,
Чтоб здесь жила-была.

Когда ушла твоя душа
На все четыре,
Её мы возвратим тебе,
Чтоб здесь жила-была.

Когда ушла твоя душа
В пучины, в солнце, и в траву,
Её мы возвратим тебе,
Чтоб здесь жила-была.

Когда ушла твоя душа
В минувшее и в то, что будет,
её мы возвратим тебе,
чтоб здесь жила-была.

МАНДАЛА X, 71

В начале мира вестники-поэты,
Любовью осенённые, всему
На свете имена дарили, так
Начиналась Речь.

Из мысли и любви. И, как муку,
Просеивали речь. Так начиналось –
С них, с божественной артели.
Содружества печать скрепила речь.

Любовь и мысль, и жертвоприношеньё
В её рожденье и пути.
Так речь вошла в поющих гимны.
Кто слышит – да услышит, но не все.

Кто видит – у того в глазах. Кому-то
Как тело страсти отдана. Разделена
меж многими, но с тем она,
кто избран.

С поэтами, но и среди них
Поди найди.
Кто предал дар, кто жиром дней
заплыл, кто бросил друга

в беде, тот слышит тень её:
я не с тобой, и нет тебе благой
дороги. Но и те, в ком дышит дар,
друг другу не равны:

один – как пруд с водой
до губ, другой – река, чтоб плыть.
Кто позади, кто впереди, но кто
Не сходит с места – ткёт
По канве безжизненный узор.

МАНДАЛА X, 129

Не бытия и не небытия.
Ни воздуха, ни неба за пределом.
Что двигалось туда-сюда? Под чьим покровом?
Что за вода была – бездонна, глубока?

Ни смерти не было, ни вечности.
Ни признака ни дня, ни ночи.
Одно дышало, воздух не колебля, – Нечто,
само себе закон. Одно, и ничего вокруг.

Вначале – мрак, и мраком был сокрыт.
Пучина, непроглядь – и всё.
То, что стремилось к жизни жаром
желания, рождалось в пустоте.

Желанье на Него нашло,
как первой мысли семя.
Происхождение сущего – в не-сущем,
сказал мудрец, увидев сердцем.

Струна была натянута в начале.
Но был ли низ там? Был ли верх?
Лишь Нечто. Натяжение. И семя.
Порыв внизу. Приятие вверху.

Кто знает истину, кто скажет?

Откуда мир возник и где исток творенья?

Мир сотворил богов – собой.

А сам возник откуда?

И как возникнуть мог –

был создан или нет?

И кто следит за ним? Кто знает –

Он? А может, и Ему ответ неведом.